

факты дарования отдельным метекам и иноземцам и даже целым группам иммигрантов, оказавших услуги афинскому государству, права владеть недвижимостью на территории Аттики (*γῆς καὶ οἰκίας ἐχτήσις*)⁷⁶.

Если распространение права *ἐχτήσις* свидетельствует об ослаблении связи гражданских прав с земельными владениями, то еще более серьезным симптомом кризиса полисной системы было то, что и сами гражданские права начинают в это время терять свою исключительность⁷⁷.

Отношения, связанные с арендой частновладельческой земли, являются составной частью тех глубоких процессов, которые характерны для экономической и социальной жизни Аттики IV в. до н. э., где постепенно и неуклонно подтачивались основные устои классической полисной системы.

THE RENTING OF LAND IN FOURTH-CENTURY ATTICA

by L. M. Glushkina

The literary and epigraphical evidence on the renting of land in Attica in the fourth century B. C. shows that while the lessees of public land were as a rule, if not exclusively, citizens, a large proportion of those who rented private land were metics and freedmen, especially the latter. In view of the well known repugnance felt by Athenian citizens for occupations involving economic dependence on private individuals, resort by citizens to renting private land could only result from great need. On the other hand, the absence of any difficulties in renting out land argues the presence of a constant reserve of potential lessees. The reserve was maintained by the continual addition to it of former agricultural slaves who had managed to purchase their freedom. The *γεωργοί* mentioned in inscriptions containing lists of metics and freedmen (IG, II/III², 10, 1553—1578 + Hesperia, XXVIII, 1959, pp. 208—238) were probably professional tenants of this sort. Although the conditions for leasing private land were more onerous than those for leasing public land, the renting of land in fourth century Attica was not accompanied by shackling terms. The involvement of non-citizens in independent production activities in the sphere of agriculture attests the weakening of the traditional close relationship between the citizen and the land and is a serious symptom of the deepening crisis of the polis as a whole.

⁷⁶ См. IG, I², 68/9 + Hesp., XIV (1945), № 9, стр. 105 слл. = SEG, X, 81; IG, I², 83, 110; IG, II/III², 206, 237, 373, 545, 706, 732, 786, 801, 810, 835, 862, 947, 1283; ср. F. Thalhheim, s. v. *ἐχτήσις*, RE, V (1905), стб. 2584; A. Wilhelm, Vier Beschüsse der Athener, «Abh. d. Preuss. Ak. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl.» (1939), № 22, В., 1940, стр. 17—24; Finley, Land and Credit..., стр. 60, 76, 89, 246, 259; Реџірка, ук. соч., стр. 197 сл.; он же, The Formula For the Grant of Enktesis in Attic Inscriptions, «Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica», Monographia XV, Praha, 1966; Файн (ук. соч., стр. 204 сл.) считает право *ἐχτήσις* фактором, способствовавшим отказу от неотчуждаемости земли в Аттике. В действительности, здесь отношение обратное: предоставление права *ἐχτήσις* свидетельствует об уже существующей возможности отчуждения земли, хотя бы и с некоторыми ограничениями. Ср. Реџірка, ук. соч., стр. 200.

Более широкое распространение права *ἐχτήσις* позднее, в последней четверти III в., привело к попыткам ввести ограничения. Когда в 229 г. до н. э. был удален македонский гарнизон и восстановлена независимость Афин, пересмотрен был закон о земельных владениях иноземцев в Аттике в сторону ограничения и стоимости их и локализации; ср. Дау, ук. соч., стр. 15.

⁷⁷ Если даже и считать риторическими преувеличениями жалобы некоторых ораторов IV в. до н. э. на проникновение в списки граждан многих чужаков (Isoc., VIII, 50, 88—89; Andoc., I, 149; II, 23), то все же можно полагать, что некоторые основания для таких заявлений имелись. Число свидетельств о даровании гражданских прав возрастает с конца V в. до н. э. См., например, Dio d., V, 46; Нурег., C. Athenog. c. XVI, 33; Syll.³, 116, 127, 548; IG, I², 110; № 378 + Hesp., IV (1935), стр. 173—174, № 38; Hesp., XXX (1961), стр. 210, № 5. В период углубляющегося кризиса полиса появляются симптомы того процесса, который в последующие столетия примет уродливые формы продажи за деньги гражданских прав (Dio Cassius, LIV, VII, 2; ср. Дау, ук. соч., стр. 127, 170—171). Подобные факты и для более раннего периода засвидетельствованы для других греческих государств, например, Византия ([Arist.], Оес. II, 3, 1346b).

С. С. Аверинцев

К ПОНИМАНИЮ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО СТИЛЯ ПЛУТАРХА

Для того, чтобы уяснить себе писательскую позицию того или иного автора, необходимо иметь в виду его жизненную позицию, структуру его социального бытия. Применительно к Плутарху это общее положение приобретает особую важность. Для него характерно постоянное стремление как можно теснее переплести свое литературное творчество со своей жизнью вплоть до самых частных и бытовых ее сторон. Плутарх любил свою биографию и охотно вводил изложение ее эпизодов в свои сочинения — в том числе и в «Параллельные жизнеописания», тема которых, казалось бы, мало к этому располагает. По меткому замечанию Евнапия (*Vitae soph.*, прооem., р. 454, Boissonade), «божественный Плутарх излагает свое жизнеописание в разрозненном виде в своих сочинениях». Постоянные действующие лица его диалогов¹ — его дед Ламприй, его отец Автобул, его братья Ламприй и Тимон, его сын Автобул, его близкие друзья Филин, Соклар, Сарацион и др. Эта черта творчества Плутарха, как мы увидим, не может быть отнесена только за счет его душевного склада; мы встречаемся здесь с сознательной установкой. Плутарх последовательно культивировал определенный образ жизни; его литературная деятельность в его собственных глазах представляла нечто относительно второстепенное и непременно соотносилась с этим образом жизни. Еще для поэта VI века Агафия Схоластика «жизнь» Плутарха — это некоторая самостоятельная ценность, независимая от его творчества: упомянув в одной из своих эпиграмм (*Anth. Pal.* XVI, 34) в связи с описанием статуи Плутарха о его «Параллельных жизнеописаниях», Агафий замечает, что к своей собственной жизни Плутарх никак не смог бы приискать «параллельную», ибо она единственная в своем роде. Еще в памяти современников Юстиниана Плутарх был человеком, достойным упоминания не только за то, что он писал, но и за то, как он жил.

Разумеется, систематический анализ данных о биографии Плутарха в рамках настоящей статьи невозможен. Здесь придется ограничиться указанием лишь на те важнейшие моменты общей картины его жизни, без которых нельзя понять его творчество.

1. В р е м я ж и з н и. Годы рождения и смерти Плутарха неизвестны. Вероятнее всего, что родился он в 40-е годы I в. н. э.² Юношей в

¹ Особенно наглядный пример — «Пиршественные вопросы».

² K. Z i e g l e r, *Plutarchos von Chaironeia* (RE, XLI Hbd., Stuttg., 1951, стб. 636—962), стб. 639 сл.

самый разгар своих философских и математических занятий под руководством Аммония он пережил посещение Греции Нероном и иллюзорное «освобождение» провинции (см. *De E apud Delphos* I, p. 385 B) в 66—67 гг.³ Воспоминание об этом Плутарх сохранил на всю жизнь; в своем эсхатологическом диалоге «О том, почему божество медлит с воздаянием» (гл. 32) он заставляет судей загробного мира смягчить причитающиеся Нерону кары за проявленный им филэллинизм⁴. Быстрое крушение этой иллюзии послужило для поколения Плутарха суровым уроком, который, без сомнения, был хорошо усвоен. Рим Плутарх видел дважды: в конце 70-х и в начале 90-х гг.⁵ Во время его первого посещения еще жива была память об ужасах гражданской войны 68—69 гг., когда друг Плутарха Местрий Флор своими глазами видел в Бедриаке трупы, наваленные грудой вровень с кровлей храма (*Otho*, 14); с тем большим удовлетворением Плутарх должен был воспринять установившееся при Флавиях спокойствие⁶. Вторично посетив столицу Империи, он мог наблюдать режим Домициана. Правда, ему не пришлось хотя бы отдаленно пережить нечто подобное тому, что испытал его современник Дион из Прусы. Без сомнения, Плутарх с меньшим увлечением вмешивался в столичные дела. Хочется отнести за счет опыта, почерпнутого в домициановском Риме, его замечание относительно опасности слишком многочисленных дружеских связей (*De amic. mult.* 6.) Имя Домициана Плутарх упоминает с враждебной, хотя довольно спокойной интонацией (*Popl.* 15).

Как бы то ни было, впечатления эпохи Флавиев и тем более воспоминания о более ранних временах (вплоть до тяжелой поры гражданских смут I в. до н. э., известной Плутарху по семейным преданиям — см. *Ant.* 68, 7) были гораздо менее утешительными, чем те надежды, которые мог внушить человеку склада Плутарха первый период правления Антонинов. На эпоху Антонинов приходится не меньше четверти века жизни Плутарха.

Когда Плутарх родился, Греция не только переживала тяжелую экономическую и культурную разруху, но и находилась в состоянии глубочайшего унижения. Когда он умирал, на престоле Империи находился филэллин Адриан, провозгласивший широкую официальную программу возрождения эллинизма⁷, и все обещало большие перемены в положении греков (по крайней мере, состоятельной и образованной их части). Во вре-

³ Нерон был в провинции с осени 66 до начала 68 г. Провозглашение свободы Греции состоялось, как явствует из знаменитой «акрефийской» надписи (*Syll.* 3, 814), 28 ноября 67 г. н. э.

⁴ Такое же отношение к эллинофильству Нерона мы встречаем еще у Филострата (*Vita Apoll.* V, 41), где события излагаются следующим образом: «Нерон даровал Элладу свободу, оказавшись в этом отношении мудрее самого себя, и города вернулись к дорическим и аттическим правам; все ожило при согласии городов (*ἐν ὁμόνοια τῶν πόλεων* — очевидная полемика с версией Веспасиана!), чего не было с Элладой даже в старые смуты и другие вещи, не заслуживавшие такого гнева». Далее приводятся три письма Аполлония к Веспасиану, где тот резко выговаривает императору за его поступок, сравнивая его с порабителем Эллады Ксерксом и т. п.

⁵ См. *Z i e g l e r*, ук. соч., стб. 655—657.

⁶ Достаточно вспомнить панегирики гражданскому миру, которые наполняют последние главы «Наставлений государственному мужу» (особенно гл. 32, также гл. 10). В трактате «Следует ли старику заниматься государственными делами?» (гл. 3, р. 784F) мы встречаем прочувствованное замечание: «Наше поколение наслаждается тем, что в нашей государственной жизни (*ἐν πολιτείᾳ*) нет места ни для тирании, ни для какой бы то ни было войны». Эти слова, которые имеют в виду прежде всего бытие греческих полисов (*πολιτεῖαι*), но в то же время, безусловно, и общеперскую ситуацию, применимы только к эпохе, начавшейся после прихода к власти Веспасиана.

⁷ Как известно, Адриан уделял весьма много внимания созданию им на основе ахейской лиги (*κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν*) панэллинскому союзу (*κοινὸν τῶν Πανελληνίων*).

мена юности Плутарха был бы совершенно немислим такой эпизод, разгравшийся приблизительно через десятилетие после его смерти и рассказанный Филостратом (*Vitae soph.* I, 25, 7): когда римский проконсул остановился в доме ритора Полемона, последний в сознании своего эллинского величия осмелился вышвырнуть высокого гостя за дверь ⁸. За время жизни Плутарха сильно изменилось к лучшему (по крайней мере, внешне) и состояние греческой литературы. Непосредственно предшествующие ему поколения грекоязычных писателей не создали почти ничего заслуживающего внимания, если не считать иудеев Филона и Иосифа Флавия (о которых Плутарх ничего не хотел знать ⁹); литературная жизнь греческого мира замирает. Но уже поколение Плутарха выдвигает наряду с ним такую фигуру, как Дион из Прусы; младшим современником «херонейского мудреца» был лично с ним знакомый философствующий литератор — «софист» Фаворин, и в это же время выступают первые представители «второй софистики» в ее чистом виде (Лоллиан, Антоний Полемон, Скопелиан). При жизни Плутарха родились Арриан и Аппиан (оба около 95 г.), Герод Аттик (101 г.) и Лукиан (около 117 г.), в непосредственной близости к дате его кончины — Элий Аристид (между 117 и 129 гг.)

Таков вкратце комплекс социальных, политических и культурных условий эпохи, в которую пришлось жить Плутарху; они в своей совокупности предопределили то специфическое соотношение резиньции и оптимизма в его мировоззрении, без которого нельзя понять и его писательской позиции.

С одной стороны, и власть Рима над Грецией, и власть цезарей над Римом в равной степени были для него стоящими вне дискуссии данностями, с которыми приходится безоговорочно примириться. Для самых робких и смутных надежд на освобождение Греции от римского владычества

О его основании рассказывает Дион Кассий (LXIX, 16). Связь замысла плутарховского биографического цикла с идеями, кристаллизовавшимися в этих актах Адриана, нащупывает О. В. Кудрявцев («Эллинические провинции Балканского полуострова во втором веке н. э.», М., 1954, стр. 241). Существование *κοινὸν τῶν Παλαιγγίων* засвидетельствовано еще для 248 г. (см. А. Б. Р а н о в и ч, Восточные провинции Римской империи в I—III вв., М.—Л., 1949, стр. 225), но уже при ближайших преемниках Адриана теряет всякую связь с серьезной политикой (К у д р я в ц е в, ук. соч., стр. 243).

* По словам того же Филострата (Vitae soph. II, 9), Элий Аристид отказался от правительских засвидетельствований почтене прибывшему в Смирну императору Марку на том основании, что был занят отработкой очередной речи. Император только одобрил независимое поведение знаменитого ратора. Луклан (Demost., 51) рассказывает, как еще один римский проконсул, подвергшийся злейшим публичным оскорблениям со стороны какого-то киника, вынужден был удовлетвориться разъяснениями о традиционном праве киников на *παρρησία*.

⁹ Плутарх при своем вошедшем в плоть и кровь классицизме не мог интересоваться иудейской литературой и едва ли имел сколько-нибудь конкретное представление о самом ее существовании. В двух разделах «Пиршественных вопросов» (кн. IV, 5 и 6) заходит речь об иудейской религии («Почему иудеи не употребляют в пищу свинью?» и «Что представляет собой иудейский бог?»). Плутарх кое-что знает об иудейских культурах (без сомнения, из ходовых греческих сочинений типа трактата Аппиана), но не подозревает о существовании Библии или грекоязычных литературных памятников иудейского мира.

По-видимому, первой половине I в. н. э. принадлежит такой шедевр, как анонимный (так называемый Псевдо-Лонгин) трактат «О возвышенном» (хотя не исключено также, что он принадлежит и более позднему времени — во всяком случае, Плутарх о таком ничего не знал). Интересно, что и этот трактат, возможно, возник в культурной среде эллинизированного иудейства или под ее воздействием. Не говоря уже о знаменитой цитате (IX, 9) из книги Бытия, трактат обнаруживает в ряде моментов поразительную близость к высказываниям Филона. По гипотезе Э. Нордена, автор трактата был лично близок к Филону и вывел его под именем «философа» (см. E. Norden, *Das Genesiszitat in der Schrift vom Erhabenen*, «Abh. d. Deutsch. Ak. zu. Berlin», 1954).

(хотя бы в форме нероновских *ἐλευθερία* и *ἀνεπισφώρα*)¹⁰ после 69 г. не оставалось места. Начало правления Веспасиана еще отмечено волнениями¹¹, затем все затихает¹². Плутарх умел достаточно ясно, и притом не всегда с легким сердцем, видеть реальные отношения: ему принадлежит выразительная сентенция о римском сапоге, занесенном над головой каждого грека (Praes. ger. rei. publ. 17, p. 813 E: ... ὀρῶντα τοὺς καλτίους ἐπάνω τῆς κεφαλῆς ...). Что касается императорского режима, то отношение к нему Плутарха (при абсолютной лояльности) не было столь однозначно положительным, как у многих провинциалов¹³, во время своих посещений

¹⁰ Ziegler, ук. соч., стб. 659.

¹¹ По сообщению Тацита (Hist., II, 8), широкий отклик получило в Ахайе восстание лже-Нерона, укрепившегося на острове Китне. Павсаний (VII, 17, 4) и Флострат (см. выше прим. 4) также говорят о какой-то «смуте» (στάσις), послужившей непосредственным предлогом отмены дарованной Нероном «свободы». Зонара говорит об этих событиях так: «...Некто, выдавая себя за Нерона на основании сходства с ним, привлек на свою сторону почти всю Элладу» (см. С. А. Жебелев, АХАИКА. В области древностей провинции Ахайи, СПб., 1903, стр. 91—93; Кудрявцев, ук. соч., стр. 224).

¹² Ср. выше прим. 6. Переход от династии Юлиев-Клавдиев к династии Флавиев — это последний общеимперский политический кризис, при котором Греция еще пыталась проявить серьезную активность; при дальнейших кризисных ситуациях такого рода она остается пассивной. Когда О. В. Кудрявцев (ук. соч., стр. 222) утверждает, что в Греции и после эпохи Флавиев «сохранилась, по-видимому, почва для возникновения антиримских движений, ... в которых, возможно, принимали участие и некоторые круги местных рабовладельцев...», то с этим, пожалуй, можно и согласиться, коль скоро любые беспорядки в городах, связанные с перебоями в доставке хлеба (ср. Philost., Vitae Soph. I, 23), с соперничеством между полисами и т. п., так или иначе приводили к столкновению с римской администрацией, отнюдь не пользовавшейся популярностью. Но важно уяснить себе, что иной уровень возмущения против римского владычества стал для Греции этой эпохи невозможным. Кудрявцев говорит «о загадочном восстании в Ахайе» в царствование Антонина Пия; единственный источник для такого утверждения — весьма отрывочное и неясное замечание в биографии этого императора, дошедшей под именем Капитолина. Как известно, SHA — весьма недостоверный источник, но даже, принимая во внимание сообщение Капитолина, едва ли возможно вслед за Кудрявцевым видеть в отсутствии указаний на то, в каком полисе мятежи имели место, надежное доказательство общегреческого характера волнений. Весь тон Капитолина заставляет предполагать с его стороны простую небрежность.

¹³ О причинах монархических настроений провинциалов см. Н. А. Машикин, Принципат Августа, М.—Л., 1949, стр. 496—500 и др. Характерны цезарианские симпатии, например, Аппиана или Диона Кассия. С другой стороны, ряд представителей грекоязычной литературы и моралистической философии весьма болезненно воспринимал императорский контроль над духовной жизнью. Так, иудей Филон неоднократно называет «демократию» (в словоупотреблении этого времени — обозначение республиканского строя) лучшим и прекраснейшим видом государства (например: «О неизменяемости божества», гл. 176: τῇ ἀρίστῃ πολιτεῖα ἀγῇ, δημοκρατία и т. п.; ср. во историка Тимагена Александрийского, современника Августа, которого Сенека «злословным» (фрагменты и свидетельства см. у Якоби — FGrH, II, A, 88, стр. 318—323). Что касается Плутарха, то его теоретическое отношение к монархии сформулировано, как известно, в отрывке (De tribus reip. generibus, 4, p. 827 B): он более или менее дословно приводит слова Платона (Polit. p. 302 E, ср. также p. 303 B) о том, что монархической форме правления нужно отдать предпочтение перед всеми другими, поскольку монарх имеет возможность проводить правильную политику, не будучи от нее отклоняем ни насильем, ни необходимостью угождать народу. В целом отрывок носит чисто академический характер и не касается реальных отношений эпохи Плутарха. Более важны для понимания взглядов Плутарха на современную ему политическую действительность такие места из «Моралий», где он, не упоминая специально о монархии, с удовлетворением отмечает наступление всеобщего покоя и прекращение «смут» (см. выше прим. 6, а также De fort. Rom., 2, p. 317 A—C; De tranq. animae. 9, p. 496). При этом молчаливо подразумевается, что гарантом мирного состояния общества является императорский режим, но Плутарх не спешит назвать последний по имени. В «Параллельных жизнеописаниях» Плутарх с исключительной симпатией и почтением выписывает образы тираноборцев Катона Младшего и Брута, но искусно подчерки-

ставника, как это будут делать позднейшие софисты, а совершенно искренне верит, что его наставления будут учтены и реализованы и притом не только в частной жизни его друзей, но и в общественной жизни греческих городов. Отсюда высокий уровень деловитости и конкретности, на котором в его трактатах обсуждаются политические вопросы; этот вкус к конкретным деталям характерен и для «Параллельных жизнеописаний»¹⁸. Если «вторая софистика» понимает функции литературы чисто декоративно, то Плутарх еще ставит на первое место их общественно-конструктивную сторону. Характерно, что принадлежащий к тому же поколению Дион из Прусы, достаточно отличный от Плутарха по всему своему человеческому и писательскому складу и в формальном отношении близкий к «второй софистике», с полной серьезностью стремится поставить свой дар ратора на службу определенным государственным идеям¹⁹. И Плутарх, и Дион захвачены пафосом общественного устройства, который после них совершенно исчезнет из греческой литературы, чтобы возродиться в совсем иных социальных и культурных условиях у пропагандистов крепнущей христианской церкви — писателей типа Василия Кесарийского или Иоанна Златоуста²⁰.

кулов»: в гл. VII выведен достаточно пронырски изображенный кирик Дидим Планетиад, который начинает патетическую декламацию о всеобщей порочности (τῇ βλατήρῃ δις ἡ τρίς πατάξας, ἀνεβόησεν ὁ τοῦ, τοῦ... τοσαύτης κακίας ὑποκεχυμένης κτλ.); его обрывает на полуслове другой участник диалога, в большой степени представляющий мнение самого автора, — дед Плутарха Лампрій. Мрачного пафоса, который господствует в «Родосской речи» Диона, Плутарх не понимал и не одобрял. Впрочем и сам Дион не так уже невосприимчив к иллюзиям века Антонинов; в этом вопросе его отделяют от благодушного херонейского моралиста скопее оттенки мировосприятия, чем вполне серьезные убеждения.

¹⁸ В этом отношении чрезвычайно характерна гл. III «Наставлений государственному деятелю», где Плутарх на многих конкретных примерах показывает, что политический деятель обязан возможно более четко представить себе моральное состояние управляемого им народа и считаться с ним как с данностью, ни в коем случае не пытаясь быстро изменять его по своему произволу (р. 799 В). Положение о том, что поступки правителя или законодателя не могут быть правильным образом оценены в отвлечении от конкретных условий, их вызвавших, очень четко сформулировано в ряду плутарховских «синкрисисов». Так, в сопоставлении Ликурга и Нумы (Numa, 24,1) мы читаем: «... Различающиеся между собой прирожденные особенности и навыки тех народов, которыми каждому из них пришлось управлять, потребовали и мер различных...». Ср. также: (Sol. 16,1—2) (о различии в условиях Солоновой и Ликурговой реформ); Fab. 28, 1; Cato Mai. 28; Flam. 23,2 (о качестве войск, которые были в распоряжении Филомена и Тита); Sull. 39,1; Crass. 36; C. Gracch. 41,2; Brut. 44—45.

¹⁹ В этом отношении особенно характерна речь XLIX, относящаяся к последнему периоду жизни Диона (см. Н. v. A g n i m, *Leben und Werke des Dio von Prusa*, В., 1898, стр. 396). Ее тема — долг философа перед общественной жизнью; подлинное признание пользы человечеству. Сами монархи обязаны повиноваться советам философа и принимать от него βραδύλη ἐπιστήμη, а ему следует идти в этом им навстречу (ср. трактат Плутарха «О том, что философу надлежит вступать в беседы прежде всего с правителями»). Социально-этические мотивы преобладают во всем позднем периоде творчества Диона (ср. речи XXXVIII, XL, XLI и др.); то, что этот общественный пафос не был для Диона пустой фразой, он доказал своей смелой речью перед мезийскими легионами в сентябре 96 г. О связи его дальнейшей писательской деятельности с конкретными установками правительства Траяна см. А g n i m, ук. соч., стр. 324, 329, 385, 395 сл.; ИАН, 1926, № 10—11, 13—17; 1927, № 3—4.

²⁰ Как известно, в IV в. церковь перенимает функции и отчасти стиль работы органов полисного самоуправления. Примечательно, что как раз наиболее видные деятели церкви того времени обращаются к творчеству Плутарха, по-видимому, усматривая в хологии нечто созвучное своим потребностям. Общеизвестно, что в основу сочинения Василия Кесарийского «О том, как молодые люди могут получить пользу от языческих книг» лег трактат Плутарха «О том, как юноше читать поэтов»; деловитый дух плутарховской педагогики, враждебный чистому эстетизму, хорошо соответствовал строго практическому мышлению знаменитого епископа. С точки зрения истории общественных идей еще более важен другой факт: диатриба Плутарха «О том, что не следует

Этот «конструктивный» дух Плутархова восприятия литературной и общественной проблематики придает его писательской интонации сдержанность и достоинство, контрастирующие с импрессионистической нервностью античного «декаданса», как он раскрылся еще в литературе эллинизма и затем во «второй софистике». Именно это имел в виду Моммзен, отмечая у Плутарха «чувство меры и ясность духа»²¹. Пафос и энтузиазм никогда не переходят у него в истерическую взвинченность, характерную, например, для Элия Аристида; его скепсис никогда не доходит до тотальной критики общества и культуры в духе Луккиана²²; его спокойная, порой несколько самодовольная непринужденность чужда откровенной безответственности Элиана.

2. Происхождение и социальное положение. Из сочинений самого Плутарха совершенно ясно, что он родился в состоятельной семье, принадлежавшей к имущим кругам города и пользовавшейся тем большим уважением и влиянием, что ее предки уже в ряде поколений жили в Херонее²³. Напротив, встречающееся иногда утверждение, что Плутарх принадлежал к «старинному аристократическому роду»²⁴, следует признать преувеличенным. Скорее можно быть уверенным в противоположном: если иметь в виду необычайно острый интерес греков римской эпохи к своим родословным и специально плутарховское внимание к своим и чужим семейным преданиям²⁵, трудно представить себе, что он умолчал бы о своих отдаленных предках, если бы хоть что-нибудь о них знал²⁶. Родословная, очевидным образом, начинается для Плутарха всего лишь с его прадеда по имени Никарх, жившего во времена Антония и Августа (Ant. 28; 68). Таким образом, Плутарх менее всего был безродным плебеем, и с рабом Эпиктетом у него в этом отношении не было ничего общего²⁷, но ему было далеко и до той головокружительной знатности, примером

делать долгов», направленная против ростовщичества как социального зла, подрывающего внутреннее равновесие греческих полисов (De vit. aere alieno, p. 829 B), внимательно изучается, перерабатывается и используется крупнейшими проповедниками патристической эпохи (гомилии *κατὰ τοὺς ὁμώνυμους* Василия Кесарийского, Григория Нисского и Иоанна Златоуста; см. также Ziegler, ук. соч., стб. 948 сл.). В V в. большой интерес к сочинениям Плутарха проявляет Феодорит Киррский, о котором мы как раз знаем, что он был энергичнейшим практическим деятелем того же типа, что и Василий Кесарийский, много усилий отдававшим полному благоустройству (см. Н. Н. Глубоковский, Бл. Феодорит, епископ Киррский, т. I, М., 1890, стр. 33).

²¹ Т. Моммзен, История Рима, т. V, М., 1949, стр. 235—236.

²² В этом отношении характерен юмористически поданный эпизод с киником Дидимом из диалога «Об упадке оракулов» (см. выше, прим. 17). Надо думать, что к сатирике Луккиана Плутарх отнесся бы не иначе, чем к своему Дидиму.

²³ R. Hirsch, Plutarch, Lpz, 1912 («Das Erbe der Alten», IV); Ziegler, ук. соч., стр. 641.

²⁴ См., например, «Очерки римской литературной критики», М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 39.

²⁵ См. хотя бы Plut., Ant. 28 и 68. Биографию Арата Плутарх посвятил некоему Поликрату, который считал себя потомком знаменитого вождя Ахейского союза; во вступлении к этой биографии мы читаем: «Но если в ком „выкалывает себя прирожденное благородство отцов“, по Пиндару, — как, например, в тебе, устраивающем свою жизнь по самому прекрасному из домашних образцов, — для того было бы подлинным счастьем вспоминать о доблестных предках, постоянно слушая о них и рассказывая самому» (Arat. I, 1). Плутарх придавал большое значение родовой, унаследованной от предков *ἀρετῇ* (ср. De sera num. vindicta 19, p. 561; De frat. amore 8, p. 482 A). Пороки и даже внешние события жизни героев своих биографий Плутарх любит объяснять ссылкой на нравы и судьбы их отцов (замечание о Гилиппе в Per. 22 и о ксантйцах в Brut. 31). Все это предполагает особый «генеалогический» стиль мышления.

²⁶ Ziegler, ук. соч., 641 сл.

²⁷ Социальный контраст между благополучным херонейским гражданином и бывшим рабом Эпафродита был сознательно обыгран в одном диалоге Фаворина (упомянутом у Галена, I, 41 K), действующими лицами которого были Эпиктет и раб Плутарха Онесим. Если учесть враждебное отношение философствующего софиста Фаворина

которой может служить софист Герод Аттик ²⁸, принадлежавший к древнейшему аттическому роду жрецов-кериков и к тому же породнившийся с римской патрицианской аристократией ²⁹.

Такое же впечатление умеренного, но устойчивого благополучия «золотой середины», чуждой крайностям, производит и имущественное положение Плутарха. Между тем для его эпохи оно кажется почти анахронизмом. Как известно, в римскую эпоху концентрация бедности на одном полюсе и богатства — на другом зашла в Греции чрезвычайно далеко. Провинция в целом была очень бедной ³⁰; имущественно необеспеченной была большая часть населения, включая людей интеллигентских профессий, — Лукиан говорил, что Эллада «воспитана на сочетании философии и бедности» (Nigr. 12). В то же время в руках отдельных людей скапливались колоссальные состояния. Достаточно вспомнить, что некто Юлий Никанор смог за свои деньги выкупить для Афин Саламин и был за это удостоен постановлением «Ареопага, булэ и народа» почетного прозвища «нового Фемистокла»³¹, чтобы почувствовать, до какой степени зависели целые города от отдельных толстосумов ³². В Спарте на рубеже I в. до н. э. и I в. н. э. захватил неограниченную власть богач Еврикл, превративший, по свидетельству Страбона (VIII, 5, 1), весь остров Киферу в свое частное поместье ³³. При Веспасиане Тиберий Клавдий Гиппарх имел состояние, оценивавшееся в 100 млн. сестерциев (см. Suet., Vesp. 13). Внуком Гиппарха был Герод Аттик, в долгу у которого было чуть ли не все население Атики ³⁴; о необычайной роскоши его пригородных вилл колоритно повествует Авл Геллий (I, 1, 2).

Образ жизни Плутарха на этом фоне выделяется как отголосок старых времен Греции. Он был настолько обеспеченным человеком, что никогда

к моралистической философии эпиктетовского типа, то «подтекст» подбора действующих лиц становится очевидным: свободнорожденному Плутарху просто не пристало вступать в диспут с Эпиктетом, и только его раб — достойный оппонент никопольского мудреца. Сам Плутарх (по крайней мере, в дошедших сочинениях) ни разу не упоминает своего знаменитого современника.

²⁸ По утверждению Филострата (Vitae soph. I, 1), Герод Аттик возводил свой род к Эакидам и считал своими предками Мильтиада и Кимона.

²⁹ См. Кудрявцев, ук. соч., стр. 164—165 и 172—182. Полное имя сына софиста было Тиберий Клавдий Аппий Атилиий Брадуа Регилл Аттик и он был римским патрицием.

³⁰ См. Р а н о в и ч, ук. соч., стр. 220 (приведен ряд колоритных фактов), стр. 238 и др.

³¹ Cp. G. F. Hertzberg, Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer, H., 1866, стр. 292.

³² Плутарх (De vit. aere alieno 4, p. 829 A—B) сравнивает богачей-ростовщиков с персидскими полководцами времен нашествия Дария: «... Дарий послал некогда Датиса и Артаферна с цепями и веревками для пленных в руках; вот так и они таскают с собой ящички с расписками и договорами — настоящие цепи для Эллады. От города к городу странствуют они и всюду сеют... зловещие, плодovitые, цепкие корни долгов, которые удушают... целые города...».

³³ Еврикл был крупным политическим авантюристом, вмешивавшимся и в интриги двора Ирода Великого (Joseph. AJ, XVI, 10, 1; BJ, I, 26, 1—4) и в борьбу Октавиана и Антония (Plut., Ant. 67). В самой Греции он, по словам его обвинителей, «грабил города» (Joseph. BJ, I, 26, 4). Как и другие представители греческой плутократии его эпохи, с хищническими операциями он соединял «эвергесии»: в Спарте он построил на свои деньги гимнасий (Paus., III, 14, 16), а в Коринфе — купальни (там же, II, 3, 5).

³⁴ По рассказу Филострата (Vitae soph. II, 1, 6), отец Герода завещал выдавать ежегодно каждому гражданину Афин по одной мине; Герод по договоренности с согражданами заменил это единовременной раздачей по пяти мин каждому, но когда те явились за деньгами, им были предъявлены их старые долговые обязательства семье Герода, так что большинство осталось ни с чем. Cp. Кудрявцев, ук. соч., стр. 184—190.

не нуждался в «литературных заработках» софиста или в poste императорского чиновника, который пришлось принять Аппиану и под старость — Лукиану. Никогда не приходилось Плутарху, по его собственному свидетельству (*De vit. aere alieno*, 6, р. 829 E), и прибегать к услугам ростовщиков, — а этим, насколько мы можем судить, в его время могли похвастаться лишь немногие граждане греческих полисов. В то же время он был чужим человеком для плутократической верхушки, с таким размахом осуществлявшей в общепровинциальном масштабе свои финансовые операции и свои «эвергесии». На последние у него не было средств³⁵. Такие сочинения Плутарха, как «О том, что не надо делать долгов» и «О сребролюбии» (в последнем трактате особенно гл. 8—9), выдают серьезную антипатию автора к греческой плутократии, в которой он с полным основанием видит силу, разрушавшую последние реликты полисной этики.

Для довершения картины этой благополучной умеренности остается только добавить, что имущественное положение Плутарха было, насколько можно судить, стабильным; по крайней мере в его жизни не было резких переходов от избытка к бедности и обратно, какие отмечают весь жизненный путь Диона из Прусы³⁶. Ни в один период своей жизни он не имел случая познакомиться ни с настоящей роскошью, ни с настоящей бедностью. Его личный социальный опыт как нельзя лучше подготовил его к усвоению старозаветного полисного идеала *το μέτρον*.

3. Р о д и н а. Плутарх родился в самом средоточии «исконной» материковой Эллады: его родным городом была та самая Херонея, которая была известна каждому образованному человеку греко-римского мира как место знаменитого сражения 338 года до н. э. В эпоху Плутарха Херонея была захолустным городком (*Plut., Dem.* 2, 2), но ревниво охраняла свои древние предания (*Plut., Cim.*, 1, 1) и обряды (*Plut., Quaest. Rom.* 16, р. 267 E).

Уже это резко отличает Плутарха от большинства представителей грекоязычной литературы I—II вв. В самом деле, среди последних лишь очень немногие, как Герод Аттик, были уроженцами изначального региона эллинской культуры, т. е. материковой Эллады и ионийских городов восточного побережья Эгейского моря. Напротив, целый ряд писателей и раторов дали эллинизированные восточные провинции. Родом из Вифинии был Дион Хрисостом, Флавий Арриан, Дион Кассий Коккеян, из Фригии — риттор Полемон, из Каппадокии — риттор Павсаний (не смешивать с автором «Описания Эллады»!), из Мисии — Элий Аристид, из Киликии — риттор Филагр, из Лидии — периегет Павсаний. Аппиан Александрийский, ритторы Птолемей и Юлий Полидевк, а уже на грани II и III вв. Афиней

³⁵ Ср. *Ргаес. ger. geir.* 31. Эпиграфический материал (включая известный дистих на постаменте статуи Плутарха в Дельфах) также не содержит никаких сообщений об эвергесиях Плутарха.

³⁶ Род Диона был весьма богатым, но уже его дед растратил на эвергесии свое состояние и вынужден был заново наживать его преподаванием риторики и придворной службой, в чем преуспел (*D i o Ch r.*, XLVI, 3). Такой же была судьба отца Диона, Пасикрата; после его смерти на его наследниках лежал долг в 400 тыс. драхм (там же, 5), хотя, впрочем, покончив дела с кредиторами, они остались достаточно состоятельными людьми, чтобы продолжать честолюбивые траты, к которым их обязывала семейная традиция (там же, 6). Настоящую нужду Дион узнал впоследствии в изгнании; однако его имение в Прусе не было конфисковано и дожидалось своего владельца, который тем временем зарабатывал себе на пропитание физическим трудом и киническим нищенством (*Ph il o s t r.*, *Vitae soph.* I, 7.). Эти резкие контрасты гордого богатства и суровой нужды очень своеобразно окрашивают жизненный опыт Диона и воздействуют на его социальное мышление, не меняя его основ (которые в общем те же, что и у Плутарха), но придавая ему такую остроту, страстность и тяготение к широко-вещательным претензиям на реформаторство, которые совершенно чужды «херонейскому мудрецу».

были уроженцами Египта. Финикия дала поэта Дорофея из Сидона (автора дидактического эпоса о созвездиях, относящегося к эпохе Антонинов), а также риторов Адриана из Тира, Аспасия из Тира и Аспасия из Библа (та же эпоха). Многие писатели не только по месту своего рождения, но и по своему этническому происхождению не были «эллинами» даже в том расширительном смысле, который был придан этому слову в эллинистическую эпоху. Так, Исей, один из виднейших представителей начального периода второй софистики, был ассирийцем (см. Phil., Vitae sophist. I, 20, 1). Философствующий софист Фаворин, ученик Диона Хрисостома (там же, I, 8), больше всего гордится как раз тем, что он, будучи кельтом, выработал у себя совершенную чистоту эллинской речи (Γαλάτης, ὁ ἐλλήνισεν — собственные слова Фаворина) и таким образом смог занять, по словам Фриниха Аравия (р. 260), первое место среди «эллинов», т. е. среди представителей космополитической второй софистики. Лукиан именует себя «Сирийцем» и в то же время с необычайной энергией защищает себя против мыслимых подозрений в недостаточном корректном владении аттицистской лексикой («Лжец, или что значит ἀποφράς», «Об ошибке в приветствии»). В круг грекоязычной литературы вступают и римляне; в их числе — последователь Эпиктета Марк Аврелий, а также беллетрист Клавдий Элиан. Элиан никогда не покидал Италии, что не мешает ему изъясняться таким языком, «как если бы он был уроженец средней части Аттики» (Phil., Vitae soph. II, 34) и даже играть в своего рода аттический и эллинский патриотизм (Ael., Var. Hist. II, 9).

Характерно, что многие из этой среды эллинизированных литераторов испытывали потребность облечь свое книжное преклонение перед Элладой и Афинами в традиционные полисные формы: целый ряд упомянутых у Филострата риториков принял, например, афинское гражданство. Некоторые, как Флавий Арриан или Гордеоний Лоллиан, даже занимали в Афинах городские magistratury (Vitae soph. I, 23, 1). Но подобные жесты оставались лишь декоративным придатком к чисто космополитическому статусу их жизни. На деле идея «эллинства» была для них связана лишь с реалиями школы и конкретизировалась в канонах риторического пуризма. Напротив, для Плутарха эта идея еще не потеряла связи с реалиями полиса. Он с детства чувствовал себя уроженцем «истинной и беспримесной Греции»³⁷; если подавляющее большинство современных ему риториков и философов «сделалось» эллинами, он эллином родился. Отсюда необычное для эпохи «почвенничество» Плутарха, с каким нам предстоит столкнуться при характеристике его мировоззрения и жизни.

4. О т н о ш е н и е к р о д н о м у п о л и с у. В самом деле, беотийское захолустье оставалось для Плутарха родным домом на всю жизнь. Конечно, человек с его любознательностью, широким кругозором и живым темпераментом не мог отказаться от путешествий: помимо двух посещений Рима, о которых говорилось выше, Плутарх побывал в Александрии и, по-видимому, в Ионии; материковую Элладу он изъездил вдоль и поперек³⁸. В связи со своими антикварными и историческими занятиями он

³⁷ Ср. знаменитое письмо Плиния Младшего к Максиму (VIII, 24, 2): «... Cogita primum humanitas, litterae, etiam fruges inventae esse creduntur... reverere conditores homine venerabilis, in urbibus sacra».

³⁸ Разумеется, лучше всего Плутарх знал Беотию: он жил в Танagre (Consol. ad ux. I, р. 608 В), в Теспиях и на Геликоне (Amat. 2, р. 749 В). Дельфы были для него второй родиной; в Афинах он учился в молодости и регулярно посещал Академию впоследствии (Quest. conv. I, 1 и др.), так же как и места всеэллинских празднеств —

испытывал постоянную потребность в посещении мест знаменитых событий и особенно в хороших библиотеках, которых, как он сам жалуется ³⁹, в Херонее ему крайне недоставало; разглядывать памятники старины и расспрашивать о местных событиях было его страстью ⁴⁰. Тем более замечательно, что он провел большую часть своей жизни на родине. Для него было внутренне невозможным избрать жизнь «гастролирующего» виртуоза-софиста или странствующего философа, какую в течение продолжительного времени вели и Дион Хрисостом, и Элий Аристид, и Лукиан. Правда, из одного места в сочинении «О том, что тяжелее, недуги души или недуги тела» (гл. 4, р. 501 E), как кажется, можно заключить, что этот трактат был написан для публичного чтения в Сардах ⁴¹; подобные популярно-философские лекции Плутарх читал — безусловно, не один раз — и во время своего пребывания в Италии ⁴². Но все эти выступления в чужих городах, хотя сами по себе были неизбежной уступкой культурному быту эпохи, в жизни Плутарха оставались случайными эпизодами и общего стиля последней не могли изменить. В целом же этот стиль представляет самый резкий контраст той беспокойной атмосфере космополитизма и сенсации, которая сформировала нервность Диона Хрисостома, самонимение Элия Аристида, сарказм Лукиана.

Но для Плутарха было внутренне невозможным не только бродяжничество странствующего ратора, но и более стабильный образ жизни где бы то ни было вне Хероней. Между тем в эпоху ранней Империи греческие литераторы обычно избирали своим местожительством крупные культурные центры. Самым важным среди них был, разумеется, Рим; там когда-то жили Дионисий Галикарнасский и Кекилий, там проводит многие годы в близости к императорскому двору Дион Хрисостом, там занимаются преподавательской деятельностью бесчисленные риторы и философы, там будет заниматься адвокатурой и делать придворную карьеру римский сенатор Дион Кассий. Даже для Герода Аттика, женатого на римской аристократке, владевшего в Италии огромными поместьями и занимавшего в 143 г. должность римского консула, Рим был второй родиной. Те, кто не хотел покидать Греции, собирались в Афинах; этот город, где проживали и Флапвий Арриан, и лексикограф Полидевк, и риторы Лоллиан, Павсаний, Юлий Теодот, и Лукиан, где Адриан учредил содержащуюся на государственном счет кафедр (ἰδρυός) для преподавателя риторики, а Марк Ав-

Олимпию (там же, IV, 2) и Истмий (V, 3 и VIII, 4). В Спарте он своими глазами наблюдал бичевание эфбев (Lys. 18, 2). Как можно судить по отдельным упоминаниям в «Параллельных жизнеописаниях» и «Пиршественным вопросам», он бывал также в Фермопилах, в Платеях, на Халкиде, в Патрах и т. п.

³⁹ Plut., Dem. 2, 1: «... Тому, кто предпринял составление истории, для которой не обойдешься теми источниками, которые есть под рукой или поблизости, но нужны... чужеземные и рассеянные по чужим краям книги, — ему на самом деле прежде всего нужен „прославленный город“ ... где у него будет изобилие всевозможных книг...».

⁴⁰ Ср. описание статуи Лисандра (Plut., Lys. 1) и Филомена (Phil., 2) в Дельфах, описание портретов Арата, из которого явствует, что Плутарх видел их во всяком случае в числе более одного (Arag. 3), упоминание статуэтки Фемистокла, которая «еще в наше время» находилась в одном афинском храме (Them. 22), копия Агесилая в Спарте (Ages. 19), статуи Демосфена в Афинах (Dem. 31) и Фламиния — «в Риме, прямо напротив цирка, рядом с большой статуей Аполлона» (Flam. 1) — и т. п.

⁴¹ В этом трактате Плутарх эффектно прерывает свое изложение: «Вы видите эту огромную и пеструю толпу? Она сошлась не... для того, чтобы принести Зевсу Аскрейскому лидийцев начатки плодов...». Во всяком случае, это отступление явно указывает на обстановку публичной речи. Два сочинения Плутарха — «Наставления государственному мужу» и «Об изгнании» — посвящены сардийским друзьям Плутарха (возможно, одному и тому же лицу).

⁴² Ср. Plut., De curios. 15, p. 522D (ἐμοῦ ποτ' ἐν Ῥώμῃ διαλέγομένου) Διὰλέγομαι (соответственно διὰλέξις) — в эту эпоху фиксированный термин для обозначения публичной речи популярно-философского или «софистического» характера.

релий даст по отдельной кафедре для четырех основных философских школ (Lucian., Eun. 3), становится настоящей столицей софистов и философов для всего эллинизированного мира. Характерно, что Флавий Филострат (так называемый Филострат II), уроженец Лемноса⁴³, не только лишен всякого пиетета по отношению к своей вполне «эллинской», хотя и скромной родине, но и считает себя «афинянином» и даже именует своего коллегу и тезку (так называемого Филострата III) — в отличие от себя! — «лемносцем» (Vitae soph. II, 27, p. 117, 11 K; 30, p. 122, 20 и др.). Элий Аристид, происходивший из мисийского города Адрианутер, провел молодость в Афинах, затем вел жизнь странствующего софиста и наконец осел в Смирне. Даже Дион Хрисостом, одно время (после 96 г.) довольно серьезно пытавшийся внушить себе патриотические чувства по отношению к родной Прусе и вложить свою энергию в городские дела, уже к 103 г. устает от мелочных провинциальных конфликтов и возвращается в Рим ко двору Траяна⁴⁴.

Напротив, для Плутарха верность Херонее была органической потребностью. Его жизненные установки хорошо выражает известная фраза из введения к биографиям Демосфена и Цицерона (гл. 2, 2): «... Мы же живем в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, остаемся в нем по любви к нему» (φιλοποροῦντες — очень характерная для Плутарха фигура pluralis modestiae)⁴⁵. Даже самые его отлучки в Рим вызваны не интересами литературной или придворной карьеры, но городскими делами Хероней (Demosth. 2, 2). Необходимо иметь в виду, сколь многое звало его в Афины — ведь он был питомцем платоновской Академии⁴⁶ и (во второй половине своей жизни) афинским гражданином, приписанным к филе Леонтиде (см. Quaest. conviv. I, 10, 1): тем более обращает на себя внимание то, что он отказался от притязаний на звание школьного «диадоха» в Афинах, чтобы остаться в Херонее и основать там своего рода филиал Академии⁴⁷.

Херонейский и вообще беотийский патриотизм — это для Плутарха одновременно и горячее чувство и сознательное убеждение, воздействующее на всю его систему оценок. Известно, с какой теплотой он относится к беотийским государственным деятелям, поэтам, философам, мифологическим героям⁴⁸. Он не упускает случая вспомнить, что один из уроженцев Хероней был учеником Сократа (De genio Socratis 20), не может снести ни малейшей насмешки над родным беотийским диалектом (Adv. Coloten 33,

⁴³ Ср. Vita Apoll. VI, 27, p. 242; Vitae soph. I, 21, 2; Ep. 70. Вопрос осложняется, правда, тем, что распределение литературной продукции между представителями семейства Филостратов далеко не выяснено.

⁴⁴ См. А г н и ш, ук. соч., стр. 392 слл.

⁴⁵ Об этой индивидуальной особенности плутарховского стиля, способной иногда повести к недоразумениям, ср. Z i e g l e r, ук. соч., стб. 643, прим. 1.

⁴⁶ См. там же, стб. 653.

⁴⁷ Об особом характере этой школы говорит Гирцель (R. H u r z e l, Der Dialog. Ein literarhistor. Versuch, 2, Lpz, 1895, стр. 33—38). Тем не менее это был именно филиал Академии, где, точно так же как в Афинах, торжественно праздновался день рождения Платона (Quaest. conv. VIII, 1, 1, p. 717).

⁴⁸ Плутарх не может назвать более высокого примера гражданской добродетели, чем освобождение Фив (например, Non posse suav. vivi sec. Epic. 17, p. 1099 C). Перед беотийским патриотизмом отступает его антипатия к кинизму: известно, что ему принадлежала биография фиванского киника Кратета (№ 37 так называемого Лам-приева перечня). Кроме того, Плутарх составил жизнеописание фиванского героя Геракла (№ 34) и беотийских поэтов Гесиода и Пиндара (№ 35 и 36), а также героя Дипоса, который почитался в соседнем с Херонеей Гиамполе (№ 38); Гесиоду Плутарх посвятил обстоятельные комментарии, широко использованные позднейшими комментаторами Гесиода (Проклом, Цецем и др.), а Пиндара цитирует в своих сочинениях свыше ста раз (по подсчетам Циглера — ук. соч., стб. 917). Прокл (Схолии на «Труды и дни», 218) именует Плутарха «беотийствующим» (βοιωτίζων) автором.

р. 1127 А). Более серьезна его глубокая антипатия ко всем теориям космополитизма и политического индифферентизма, с наибольшей отчетливостью сказавшаяся в его антиэпикурейской полемике. В темпераментно написанном трактате «Хорошо ли сказано: „Живи незаметно“?» он убежденно отстаивает идеал гражданской общности и полисной гласности: «... Но тот, кто славит ... в нравственных вопросах (ἐν ἡθικαῖς) закон, общность и гражданственность (νόμον καὶ κοινότητα καὶ πολιτείαν)..., чего ради ему скрывать свою жизнь! Чтобы ни на кого не оказывать воспитывающего влияния (ἵνα μηδὲνα παιδεύῃ), никого не побудить к состязанию в добродетели, ни для кого не послужить благим примером.... Подобно тому как свет делает нас друг для друга не только заметными, но и полезными, — так, думается мне, и гласность (ἡ γυνῶσις) доставляет доблести не только славу, но и случай проявить себя на деле (οὐ μόνον δόξαν ἀλλὰ καὶ πράξιν)...» (De latenter vivendo, 4, р. 1129 В—С). В другом направленном против эпикурейцев сочинении (Adv. Coloten 2, р. 1108 С) он твердо высказывает стоящий для него вне всякого сомнения тезис: «Хорошо жить — значит жить в общности» (τὸ δ' εὖ ζῆν ἐστὶ κοινότητος ζῆν).

Всякий раз, когда Плутарх говорит на эти темы, его благодушный и многословный стиль приобретает необычную страстность; для критики позднеантичного индивидуализма он умеет найти очень выразительные слова. Вот он сравнивает душевное состояние замкнувшегося в себе абсентеиста с состоянием людей, отходящих ночью ко сну: «Души охватывает сонная вялость, и рассудок, ограниченный пределами самого себя, словно чуть тлеющий огонь, от праздности ... сотрясается беспорядочными видениями, свидетельствуя лишь о том, что еще живет человек...» (De latenter vivendo 5, р. 1129 Е). В этом же трактате он упрекает эпикурейцев: «... Тот, кто ввергает самого себя в безвестность, — закутывается в темноту и хоронит себя заживо (κενοταφῶν τὸν βίον), — похоже, досадует на то, что родился, и отрекается от бытия...» (там же, 6, р. 1130 С).

Житейская практика Плутарха вполне соответствовала этим убеждениям, — по крайней мере, постольку, поскольку это зависело от него, а не от условий эпохи. Он исполнял в родном городе не только должность архонта-эпонима (Quaest. conviv. II, 10,1; там же, VI, 8,1), но и более скромные магистратуры, причем считал, что следует старинной полисной морали, запечатленной в изречении Эпаминонда: οὐ μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δεικνύσιν ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνὴρ (Praes. ger. ger., 15, р. 811 В—С). Его принципы требовали именно такого поведения: характерно, что он порицает стоиков за то, что те в теории требовали от мудреца участия в государственных делах, но не имели никакой жизни и сочиняли всевозможные доктрины и утопии, но не имели никакого интереса к полисной практике. В полемическом трактате (De stoic. gerugn. 2, р. 1033 В—С) мы встречаем такую инвективу: «... В то время как у самого Зенона, у Клеанта, у Хрисиппа много написано сочинений о государственном устройстве (περὶ πολιτείας), о том, как следует повиноваться и приказывать (περὶ τοῦ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχεῖν), творить суд и произносить речи, — в их жизнеописаниях (ἐν δὲ ταῖς βίαις) ты не встретишь упоминания о том, чтобы кто-нибудь исполнял должность стратега, вносил законы, ходил в совет, выступал в судах, сражался за отечество, участвовал в посольстве, устраивал раздачу; вместо этого они проводили ... жизнь на чужбине⁴⁹, вкусив, словно некоего лотоса, покоя, — среди книг, бесед и прогулок». Итак, Плутарх считает, что философское морализирование на политические темы должно быть подкреплено политической прак-

⁴⁹ Как характерно это замечание! Какой еще автор римской эпохи был бы способен увидеть в том, что стоические философы жили вне родных полисов, нечто ненормальное?

тикой, притом непременно в рамках полисных магистратур и в родном городе: тезис, столь же неоспоримый с точки зрения традиционалистской античной этики, сколь анахроничный с точки зрения реальных условий римской эпохи.

Но если исполнение магистратур архонта-эпонима, телеарха и т. п. в Херонее соответствовало моральным принципам Плутарха и давало удовлетворение его совести, возможностей для настоящей деятельности здесь не было. Остается вопрос: в какой мере Плутарх участвовал в реальной политике своего времени. Очевидно одно: он не имел к ней таких непосредственных и напряженных отношений, не углублялся в кипение страстей вокруг императорского престола с такой увлеченностью, как его современник Дион Хрисостом. В его жизни не было эпизода, который можно было бы сравнить с выступлением Диона в мезийском лагере осенью 96 г. Разницу в общественном поведении Плутарха и Диона — когда ее вообще замечают — принято объяснять лишь чисто психологическим различием между их индивидуальными характерами⁵⁰. Возражать против этого объяснения нельзя: но есть все основания видеть здесь не только различие темпераментов, но и различие в стиле мышления, и подчеркивать в первую очередь не психологические, но мировоззренческие причины, побудившие Плутарха вести себя именно так, а не иначе. Вложить всего себя в то, что было в римскую эпоху «большой политикой», Плутарху мешало прежде всего свойственное ему повышенно серьезное отношение к идеалам партикулярного полисного патриотизма. Мы только что видели (см. цитату на предыдущей странице), что человек, поселившийся ἐπὶ τῆς πόλεως, в глазах Плутарха — праздный обыватель.

Оттенки мировоззренческого стиля Плутарха можно с особенной наглядностью проследить как раз там, где между его идеалами и жизнью возникало расхождение. Выше говорилось о черте автобиографической «общительности» у Плутарха, побуждавшей его при всяком удобном случае рассказывать о себе и о своей жизни. И вот оказывается, что кое о чем Плутарх все же умалчивает! Мы никогда не узнали бы из его сочинений о том, что он был римским гражданином и принял в честь своего друга Местрия Флора помен Местрий⁵¹ (напротив, Дион охотно говорит о том, как его родители получили римское гражданство, см. речь 41, 6). Это умолчание, конечно, никоим образом не может свидетельствовать об оппозиционных отношениях Плутарха к Риму; общеизвестно, что он в своих сочинениях не только вполне лояльно отзывался о римском владычестве, но и говорит о своих римских друзьях, о римских «древностях» и т. п. с такой охотой как едва ли кто-нибудь другой из греческих авторов его эпохи. Дело не в этом. Упоминание о своем римском гражданстве претило его полисному инстинктам. Для себя самого, для своего читателя, для потомства он хочет быть только гражданином Хероней.

Полным молчанием Плутарх обходит события своей старости, приблизившие его к «большой политике». К сожалению, все сведения об этих событиях содержатся в поздних и ненадежных источниках и достаточно неясны. По сообщению «Суды», Траян облек Плутарха консульским достоинством и дал ему своего рода право вето в отношении всех действий наместника Иллирии (προέταξε μὴδὲνα τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα ἀρχόντων παρ᾽ ἐτῆς αὐτοῦ γυφίης τι διαπράττειναι). Евсевий Памфил в своих «Хронологических таблицах» помечает против 119 г. «Херонейский философ Плутарх в старческом возрасте назначен наместником Эллады» (собственно «прокуратором» — ἐπιτροπεύειν). Оба свидетельства нельзя принимать

⁵⁰ Ср., например, Ziegler, ук. соч., стб. 657 и др.

⁵¹ Это известно лишь из одной дельфийской надписи (CIG, 1713 = Syll. ³, 842).

буквально (во времена Плутарха *praeses* *Plutiae* еще не имел никакого отношения к Ахайе, а во главе последней стоял не прокуратор, а пропре-тор), но они свидетельствуют об устойчивой и распространенной традиции, согласно которой Плутарху при первых Антонинах была предоставлена достаточно широкая возможность вмешиваться в дела римского управления Грецией⁵². Об известной близости Плутарха к проводникам эллинофильской политики Адриана свидетельствует и то, что имя его фигурирует на подножии статуи Адриана в Дельфах⁵³. И вот тот же самый Плутарх, который с величайшей словоохотливостью повествует о том, как он был в юности послан от херонейской общины с поручением к проконсулу, как он занимался в Херонее надзором за чистотой улиц и о прочих подобных мелочах, ни словом не упоминает те факты, к которым восходят сообщения Евсевия и Суды! Сюда же относится и то, что он никак не информирует читателя и о реальном содержании своих *χρῆσαι πολιτικάι* в Риме. Что принуждало его к такой скрытности? Стыдиться своей близости к власти имущим он в соответствии со своими принципами не мог: оппозиционный дух эпиктетовского морализма ему совершенно чужд, и первейшая обязанность философа, по его убеждению, — *διαλεγέσθαι τοῖς ἡγεμόσι*⁵⁴. Можно, разумеется, привлечь для объяснения тактичность, скромность, эстетическую чувствительность Плутарха⁵⁵ и все же останется не вполне ясным, почему в его глазах всякое обстоятельное сообщение о своем контакте с римской «большой политикой» было таким уж бестактным и безвкусным: тот же Дион, который во всяком случае не был ординарным карьеристом, говорит о таких предметах гораздо свободнее. При этом же Плутарх отнюдь не умалчивает о своих личных контактах с людьми из непосредственного окружения первых Антонинов, к числу которых принадлежал хотя бы Сосий Сенецион. Объяснение, по-видимому, состоит в следующем. Сконструированный Плутархом идеал «философа» и «гражданина», под который Плутарх до известной степени стилизовал для читателя свой собственный образ, не только не исключал сношений с влиятельными римлянами, но прямо предполагал эту черту. Однако даже в этом пункте, бесспорно, свидетельствующем о реалистичности мировоззрения Плутарха, его идеал оставался ретроспективным. Только на этот раз Плутарх обращался мыслью не к временам полисной классики, а к временам Полибия, — к сравнительно недавнему прошлому, но все же к прошлому. Плутарх хотел быть Полибием своего времени (заметим, что последний импонирует ему не столько как историк — чуждый сентиментальности прагматизм Полибиева изложения был Плутарху противоположен, сколько как политик, защищавший эллинское дело в Риме)⁵⁶. Ис-

⁵² Ср. полемику против гиперкритического отношения к этим известиям у Циглера (ук. соч., стб. 658 и к нему прим. 1).

⁵³ Речь идет о той же надписи, что и в прим. 51.

⁵⁴ Плутарху принадлежит особый трактат «О том, что философу надлежит беседовать прежде всего с правителями». Он ссылается в нем на пример Анаксагора — друга Перикла, Платона — советчика Диона и Пифагора — вдохновителя «первых людей Италии», а также на пример Панэтия, поддерживавшего дружбу со Сципионом (I, р. 777 А).

⁵⁵ Ср. Ziegler, ук. соч., стб. 658 — менее убедительно другое объяснение, предложенное Циглером: Плутарх в последние годы будто бы настолько ушел в политическую деятельность, что просто не имел времени для литературных занятий, а следовательно, и случая упомянуть о своих новых делах. При всей неясности хронологии трудов Плутарха все же очевидно, что достаточно значительную их часть приходится датировать как раз концом жизни автора (ср. Ziegler, ук. соч., стр. 708 — 716 и др.).

⁵⁶ Ср. *An seni sit gerenda res* p. 12, р. 791 А (Полибий назван как образец хорошего политического деятеля, сумевшего научиться своему делу у Филомена); *Praes. ger. reip.* 18, р. 814 С (Полибий сумел употребить дружбу со Сципионом во благо своей *патрис*). Можно еще привести место в том же духе из «Изречений царей и полковод-

ходя из этих принципов Плутарх и в Риме, и в качестве консультанта римского правительства должен был представлять, что он не римский, но эллинский государственный деятель и специально посланец греческого полиса, что его дело — не римская, а херонейская и панэллинская политика. Анахронизм таких представлений очевиден, и в какой-то степени их неприложимость к реальным условиям времени, к конкретным ситуациям, возникавшим перед Плутархом во время его пребывания в Риме и позднее, в правление Траяна и Адриана, была, вероятно, ясна ему самому. Именно поэтому Плутарх ничего не говорит об этих ситуациях; скрывать ему здесь было, скорее всего, нечего, но эстетическая цельность стилизованного автопортрета была бы нарушена слишком конкретными подробностями.

5. **Культ семейных отношений.** Анахронистическая полисная гражданственность Плутарха, возникающая из отталкивания от космополитических и абстрактных стандартов цезаристского государства и софистической культуры, в своей ориентации на конкретные, наделенные интимной теплотой ценности закономерно переходит в свою противоположность: в повышенное внимание к приватной сфере человеческого бытия. Этика семьи подменяет собой этику полиса, и здесь Плутарх — вполне сын своего времени, от которого он пытается уйти.

По природе своей семейные отношения особенно легко воспринимаются как область, менее всего затрагиваемая исторической динамикой, наиболее вневременная и традиционалистская. Поэтому здесь создается возможность для иллюзии, состоящей в том, что как раз поведение, субъективно осмысляемое как следование традиции, на деле представляет выразительный контраст этой традиции. Именно так было с Плутархом: ему представлялось, что в своем совершенно неклассическом, порой почти христианском культе семьи он возрождает добродетели полисной классики. Между прочим, он оправдывал «семейный» колорит своих диалогов, где, как уже говорилось, постоянно выступают братья Плутарха, ссылкой на классический пример — на Платона: «... Так и Платон прославил своих братьев, введя их в прекраснейшие из своих сочинений, Главкона и Адиманта — в „Государство“, а младшего, Антифонта, — в „Парменида“...» (De frat. amore, 12, р. 484 E). На деле Плутарх бесконечно далек от своего образца. Действительно, Платон увековечил имена своих братьев, но сделал это с величайшей сдержанностью, с истинно классической суровостью, сквозь которую его отношение к Главкону, Адиманту и Антифону можно скорее угадать⁵⁷, чем увидеть. О них самих мы при этом также, в сущности, ничего не узнаем, в то время как по сочинениям Плутарха можно очень обстоятельно выяснить биографии Ламприя и Тимона⁵⁸. Достаточно подумать о том, насколько немисливо представить себе в «Государстве» или «Пармениде» семейные истории Платона, его объяснения в братской любви кому-либо из братьев (ср. у Плутарха De frat. amore 16, р. 487 E!) и т. п., чтобы ощутить пропасть между всем стилем отношения к жизни и литературе у Плутарха и у его кумира⁵⁹. Контраст между почти без-

цев» (Scip. Min. 2, р. 200 A), хотя принадлежность этого сборника Плутарху сомнительна (ср. Ziegler, ук. соч., стб. 863—865; R. Volkman, Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Chaeronea, I, В., 1869, стр. 211—234).

⁵⁷ Старый русский переводчик Платона делает к упоминанию в тексте «Государства» имен Главкона и Адиманта наивное примечание: «... Судя по тому, как в этой книге изображаются нравственные их свойства, надобно полагать, что Платон любил их...» (Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные проф. Карповым, изд. 2-е, ч. III, СПб., 1863, стр. 51, прим. 1). Более определенно не позволил себе выразить даже этот простодушный комментатор.

⁵⁸ Ср. Ziegler, ук. соч., стб. 645—646.

⁵⁹ Между тем Плутарх удостоил литературного памятника не только своих братьев, деда, отца и сыновей, но также и свою жену Тимоксену. Два сочинения Плутарха («О подвигах женщин» и «Об Исиде и Осирисе») посвящены знакомой матери семейст-

личной жесткостью классики и почти фамильярным благодушием позднеантичной φιλανθρωπία поистине разителен. Чтобы продолжить сравнение с Платоном, которое особенно показательно потому, что Плутарх субъективно стремился к сильному подражанию патрону Академии⁶⁰, вспомним суровую сцену из «Федона» (р. 60 A), где Сократ выпроваживает Ксантиппу с ребенком, чтобы провести последние часы только с учениками в строгой и отрешенной атмосфере философской дискуссии; вспомним общепознанные места «Государства» (кн. V, р. 457 D — 461 E), требующие полнейшего растворения семьи в безличном укладе абсолютизированного полиса; вспомним, наконец, логически связанное со всем этим третированием брака и семьи предпочтение однополрой мужской любви (например Symp., р. 181 C). Нет ничего более чуждого Плутарху. В отмену платоновской теории любви составлен диалог Плутарха «О любви», где он горячо превозносит именно женскую и супружескую любовь как высшую реализацию сократовской «эротики». Если полисная мораль, философски суммированная Платоном, сосредоточивала весь ригоризм своих требований на обязанностях индивидуума перед коллективом сограждан, а до таких вопросов, как взаимная любовь супругов и верность с мужской стороны, ей просто не было дела (отсюда такие места у Платона, как Resp. V, р. 460 E), то Плутарх с исключительной выразительностью и прочувственностью говорит как раз о последнем: не знать женщин, кроме своей жены и притом единственной⁶¹, — в его глазах не только добродетель, но и заветное счастье (Cato Mai. 7, 3).

Для воспеваания семейных обязанностей и семейного счастья Плутарх использует буквально каждый удобный и неудобный случай. Так, стоит ему упомянуть о том, как Фалес отговаривал Солона от брака (Sol. 6—7), как он считает необходимым разразиться пространной тирадой с обстоятельным опровержением доводов Фалеса. Семейной этике специально посвящен цикл из трех популярно-философских трактатов: «Брачные наставления», «О любви к детям» и «О братской любви». Сюда же примыкают интимно-задушевные по тону «Утешение к супруге», уже упоминавшийся диалог «О любви», который в целом представляет собой настоящее похвальное слово браку, и утраченный трактат «О том, что женщинам должно давать образование». Бытовые реалии домашней жизни всплывают у Плутарха в самых неожиданных местах: так, он может вдруг завести речь о неопытных хозяйках, которые портят льняные ткани неумеренной стиркой (De sanitate tuenda, 22, р. 134 E). О таких вещах Плутарх всегда говорит охотно. Роль «домашних» мотивов в его творчестве можно отдаленно сравнить с ролью мотива «детской» у Л. Толстого⁶².

ва — жрице Клее. Что мог бы сказать об этом человек эпохи Платона? Плутарх откровенно полемизирует со взглядами греческой классики, когда оспаривает известную сентенцию Фукидида (вложенную в уста Перикла) о том, что лучше всего, когда женщина не подает повода ни хулить, ни хвалить себя (De mulier. virt., prooim. р. 243 A).

⁶⁰ Плутарх часто именует Платона «божественным» (например, De inimic. utilit. 8, р. 90 C). Поведение Платона постоянно выставляется как пример для подражания (De cohib. ira 16, р. 463—464; De sera numin. vind. 5, р. 551 A; Adv. Coloten 2, р. 1103 A; De audiendo 6, р. 40 C; De inimic. utilit. 5, р. 88 E и др.).

⁶¹ Требование, чтобы человек состоял только в одном супружестве на протяжении всей своей жизни, т. е. осуждение не только двоеженства, но и брака после вдовства, известно в языческой греческой литературе лишь в применении к женщине (например, P a u s., II, 21, 7, со ссылкой на обычаи старины). Напротив, в раннехристианской литературе (например, в так называемых пастырских посланиях апостола Павла) заповедь «быть мужем единственной жены» обращена к мужчине. Подобные проявления «неклассического» морализма у Плутарха дали повод К. Марксу шутливо назвать его «отцом церкви».

⁶² Сопоставление с Толстым в большей степени генетически обосновано, чем это кажется на первый взгляд. Толстой воспринял традицию плутарховской интимности че-

Семейную сферу дополняет сливающаяся с ней сфера приватной дружбы. Из сочинений Плутарха мы узнаем несколько десятков имен его друзей и добрых знакомых; некоторые из них (например, благонравный и ученый юноша Диогениан, увлекающийся и немного ограниченный Флин и др.) становятся для читательского восприятия пластичными и живыми образами. Вопросам этики и дружбы Плутарх посвятил трактаты «О том, как отличить льстеца от друга» и «О том, следует ли иметь много друзей», а также утраченные сочинения: «О дружбе», «Послание о дружбе», «К Битину о дружбе», «Послание к Фазорину о пользовании друзьями» (возможно, что какие-то заглавия в этом перечне относятся к одному и тому же сочинению, но судить об этом с уверенностью невозможно). Ценность дружбы — достаточно традиционный мотив греческой этики и литературы, но дело в том, что у Плутарха и дружба приобретает чрезвычайно приватный, домашний характер: чтобы почувствовать это, достаточно прочесть то место из «Пиршественных вопросов» (кн. VIII, 6), где изображено вмешательство Плутархова друга Соклара в легкую семейную сцену между самим Плутархом и его сыновьями.

Строгая полисная этика была настроена настороженно по отношению к приватным отношениям гражданина именно потому, что в том предпочтении, которое человек отдает своим домашним или личным друзьям перед прочими членами гражданского коллектива, ей виделось некоторое нарушение «справедливости». Именно поэтому Платон стремится в своем идеальном государстве предотвратить самую возможность такого предпочтения. Плутарх, напротив, решительно настаивает на том, что человек вправе и даже обязан именно предпочитать брата — другу (*De frat. amore* 3), сына — чужому ребенку (*Sol.* 7) и т. п. Всякая иная точка зрения кажется ему бездушным доктринерством (это постоянно выступает в его антистоической полемике), а все отношения, в основе которых не лежит кровная привязанность, — искусственным суррогатом природы: «...Тот аркадский прорицатель, о котором рассказывает Геродот, лишившись своей ноги, приладил себе деревянную; а такой человек, который находит в вражде со своим братом и приобретает себе друга на агоре или на палестре, делает то же самое, как если бы он по доброй воле отрезал себе состоящую из плоти и сросшуюся с ним часть тела, чтобы приставить себе чужую...» (*De frat. amore* 3, р. 479 С). В этом отрывке, как и вообще у Плутарха, слова *οἰκτιρος* и *ἀλλοτριος* звучат с необычайной выразительностью и наделены усиленным значением. Для Плутарха очень характерна защита всего органически «вырастающего», интимно близкого и «почвенного» против всего, что представляется ему искусственным, «сделанным», неживым. Безусловно, это настроение было бы немислимо без того культа *φύσις*,

рез посредство таких «плутархианцев», как Монтень и особенно Руссо. Роль Руссо в духовном и литературном формировании Толстого общеизвестна; между тем Руссо не только восхищался героическим пафосом «Параллельных жизнеописаний», но с особенным интересом относился к их бытовой детализации. В «Эмиле» (т. III, кн. 4) мы читаем: «... Plutarque excelle par ces mêmes détails, dans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimitable à peindre les grands hommes dans les petites choses... Agesilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainqueur du grand roi...; Philopoemen, le manteau bas, coupe du bois dans la cuisine de son hôte..., c'est dans les bagatelles, que *le naturel* se découvre...» Это замечание очень наглядно показывает, в чем именно Руссо опирался на литературный опыт Плутарха. Плутарх, Руссо и Толстой (о месте «мысли семейной» в творчестве последнего см. В. К и р п о т и н, Типология русского романа, «Вопросы литературы», 1965, № 7, стр. 104—129) в различных историко-литературных ситуациях работали над аналогичной задачей обновления литературы за счет внедрения сгущенно интимного «домашнего» материала. При этом если Плутарх был далеким предшественником для Монтеня, Руссо и Толстого, то он сам имел предшественника в лице горячо любимого им Менандра (ср. «Сопоставление Аристофана и Менандра» и отрывок «О любви», дошедший у Стобея, LXIII, 34).

который был разработан огромной кинико-стоико-эпикурейской традицией⁶³; однако оценки у Плутарха резко смещены, что можно предварительно показать на том, что у него в ранг естественного и органического зачислен прежде всего институт семьи, подвергавшийся в эллинистической философии критике как раз с позиций *φύσις*. Не останавливаясь подробнее на этом поучительном контрасте между этикой Плутарха и морализмом кинического, стоического или эпикурейского толка, отметим здесь то значение, какое имеет для Плутарха ничем не опосредованная конкретность и «естественность» частных человеческих отношений. В конце концов создается впечатление, что хороший гражданин, по Плутарху, — это хороший семьянин и хороший друг: подобно тому как семья незаметно переходит в более широкий кружок друзей (как можно видеть на примере отношений между домашними Плутарха и Сокларом⁶⁴), точно так же этот кружок незаметно расширяется до полисного коллектива, до родного городка, в котором все знакомы друг с другом и на который направлен партикулярный патриотизм Плутарха, — а уже из этой сферы плутарховская *φιλανθρωπία* разливается на дальнейшие концентрические круги.

Мы только что отметили контраст между сентиментальным приватизмом Плутарха и суровой гражданственностью полисной классики. Но в определенном отношении Плутарх все-таки по-настоящему близок этой классике. В самом деле, в эпоху, когда полисный уклад еще не был затронут распадом, государство не мыслилось как нечто принципиально отмежеванное от личной жизни граждан и противостоящее ей в своей абстрактной безличности (так же как не существовало самой этой личной жизни в отрыве от общего строя жизни полиса). Только в эпоху эллинизма и в особенности в Римской империи складывается чиновничество и неразлучное с ним представление о государстве, как совершенно специфической и автономной сфере, внеположной бытию обособившегося индивидуума; духовным коррелятом этих новых отношений стала философская *утопия*, — если государство отмежевывалось от конкретных связей, объединявших коллектив классического полиса, отмежевывалось от быта, обычая и традиции, то уже ничто не мешает заново теоретически конструировать его на началах отвлеченного умозрения. Но как раз этот социальный опыт Плутарх прямо-таки отодвигает от себя. Образ жизни чиновника ему глубоко чужд (достаточно представить себе его на месте Аппиана, чтобы почувствовать контраст), и почти так же чужд ему дух утопии: мы уже видели, как он отзывается о стоических проектах идеального государства. В эпоху полисной классики частная и гражданская сфера человеческой жизни находились в органическом единстве с приматом второй; если объективно это единство к эпохе Плутарха давно распалось, то в сознании «херонейского мудреца» оно вполне сохраняет свою силу, хотя и с возросшим коэффициентом приватизма.

Мы сравнивали выше Плутарха с Платоном, причем Платон представлял в нашей антитезе традицию полисной этики. Здесь время сделать оговорку и сказать, что в определенном отношении Плутарх больше берет от этой традиции в ее подлинном изначальном, еще не прошедшем через диалектическое расчленение и конструирование виде, чем Платон, еще застав-

⁶³ Ср. Е. Grumach, *Physis und Agathon in der alten Stoa*, В., 1932; Н. und M. Simon, *Die alte Stoa und ihr Naturbegriff: Ein Beitrag zur Philosophiegeschichte des Hellenismus*, В., 1956. При этом важно отметить, что для Плутарха идеал естественности совершенно не включал в себя никаких реформаторски-опростительских тенденций, которых далеко не чуждался Дион Хрисостом («дионогеновские» речи VI, VIII, IX, X, «Эвбейская» речь VII и др.). В глазах Плутарха именно такие устремления грешили против естественности.

⁶⁴ См. выше, стр. 76.

ний сумерки полисной классики. Дело в том, что Платон, чтобы придать полисной форме государства идеальную законченность и застраховать ее от всяких изменений, отнимает у нее черты непосредственности и органичности и присваивает ей небывалую абстрактность. Реальный полис никогда (в том числе и в самых архаических, суровых и неуступчивых вариантах, вроде спартанского) не был таким кристаллически холодным и не знал такой отрешенности от конкретного человеческого бытия своих же граждан. Утопия Платона, по субъективным намерениям автора ориентированная на консервацию классической полисной государственности, на деле сигнализирует о конце последней, о приходе общественных форм с более высоким коэффициентом «отчуждения» уже тем самым, что она — утопия и потому предполагает такое отвлеченное понимание государства, которое несовместимо с чисто полисными отношениями. В этом смысле мышление Плутарха, легко отождествляющее приватную и общественную сферу и при этом неприязненно относящееся к чиновническому (как и любому другому) профессионализму, а равно и к утопии и вообще ко всему «искусственному», что в равной степени противостоит в его глазах и полисной гражданственности и приватной непринужденности, — действительно возрождает некоторые черты классической греческой этики, хотя и в достаточно измененном виде.

Не приходится сомневаться, что это запоздалое возрождение полисной психологии при всей своей анахроничности все же было укоренено в определенной социальной реальности эпохи. Очевидно, что в сколь бы превращенной форме ни выступали полисные отношения в римскую эпоху, они ушли из жизни и быта людей только вместе с концом античной цивилизации⁶⁵. Проповедь полисной солидарности была практически актуальной еще для Апулея (*De dogm. Platonis*. II) и Филострата (*Vita Apoll.* I, 15; VI, 2 etc.)⁶⁶. В конце концов, даже христианская церковь заимствовала для организационной структуры своих «митрополий» полисные формы; тем более живыми были эти формы для людей с социальным статусом Плутарха. В этом круге фактов следует искать корни Плутархова мироощущения; но особого рассмотрения заслуживают следствия этого мироощущения — специфически плутарховский подход к литературной деятельности. Ясно, что для столь антипрофессионалистски настроенного автора весь комплекс вопросов самоопределения между популярной моралистикой и второй софистикой стоял по сути своей иначе, чем для писателя, который все ставил на свое писательство. Но это — тема особого исследования.

ON UNDERSTANDING THE WORLD OUTLOOK OF PLUTARCH

by S. S. Averintsev

The particular ratio in which resignation combines with optimism in Plutarch's writing should be seen as a product of conditions peculiar to his time, when Rome's power over Greece and the Caesars' power over Rome had been established beyond dispute, but for Greeks there remained a hope which could still appear to them as a real and vital goal: the revival of Hellenism within the Empire. Later, in the reigns of Hadrian and his successors, when the Roman government's philhellenic measures would have reached and passed their apogee, Hellenic revival, as a watch-word, would be transformed from a genuine

⁶⁵ Ср. Кудрявцев, ук. соч., стр. 119—120.

⁶⁶ Ср. анализ этих источников: Е. М. Штаерман, Кризис рабовладельческого строя в провинциях Римской империи в III веке, М., 1957, стр. 258—260 и 284—293.

dream about the future into an official label of the present; a fiction, which might be ecstatically glorified by an Aelius Aristides or sarcastically mocked by a Lucian, but could no longer inspire in anyone the quiet, steady hopefulness we find in Plutarch. Plutarch's optimism is quite sincere: his acting the preceptor is not mere pose, he earnestly believes that his precepts are realisable: hence the absence of bombast, the taste for the concrete detail.

Plutarch's personal identification with Chaeronea contrasts sharply with the biographical data on representatives of the Second Sophistic. For other pagan Greek writers of the Imperial epoch Hellenism was an idea primarily associated with the world of the schools, for Plutarch it had not yet lost its connection with the polis world. Hence the psychological impossibility for him to live away from Chaeronea, hence his firm conviction that anyone who practised literature or philosophy far from his own polis was a shallow Philistine. That such notions were anachronistic is obvious; but it is also clear that it was just this cast of mind that was responsible for the realism and true feeling of Plutarch's attitude to the institutions and life of the classical polis, which was a not inconsiderable factor in shaping the character of his «Parallel Lives». However, if this aspect of Plutarch's world outlook seems to put a distance between him and his contemporaries and makes him receptive to the legacy of the past, quite a different aspect of it is brought out by his heightened interest in the intimate details of personal life. Plutarch's anachronistic feeling for polis patriotism, which arose from his rejection of the cosmopolitan standards of the Caesarian state and sophistic culture, just because of its inclination towards concrete, tangible values, passed over into its opposite: an intense absorption in problems of family life. Plutarch strives to dissociate himself from the new social situation created by the rise of officialdom and the concept of the state as an autonomous sphere, unrelated to the life of the individual.
